

Смотрите, как мы развлекаемся! Но когда же и повеселиться, как не в молодости: ведь живешь только раз, да еще в Англии; и то и другое не пустяк, от любой из этих бед можно поседеть в одночасье; потому что, да будет вам известно, нет на свете другой страны, где было бы так много старых дураков и так мало молодых.

Хорес Уолпол

ОЛКОТТУ ГЛОВЕРУ

Дорогой мой Ол! Памятуя о Джордже Муре, не терпевшем предисловий, все, что я хочу здесь сказать, я, пожалуй, лучше изложу в письме к тебе. Хоть ты и постарше меня, мы все же принадлежим к одному поколению — к тем, кто детство и отрочество свое, точно юный Самсон, провел в попытках разорвать путы викторианства и чье возмужание совпало с мировой войной. Многое множество наших сверстников унесла безвременная смерть. Нам повезло — или, быть может, не повезло: мы уцелели.

Я начал эту книгу почти сразу же после перемирия, в крохотной бельгийской деревушке, где мы тогда квартировали. Помню, все вокруг утопало в снегу, а угля у нас почти не было. Потом началась демобилизация, немало труда мне стоило вновь приспособиться к мирной жизни, и на этом книга моя погибла. Я забросил рукопись и больше уже не брался за нее. Попытка оказалась преждевременной. Но ровно десять лет спустя, чуть ли не день в день, я вновь почувствовал, что должен приняться за эту книгу. Знаю, по многим причинам ты прочтешь ее с сочувствием. Но я не могу ждать той же снисходительности от других.

Эта книга — не создание романиста-профессионала. Она, видимо, вовсе и не роман. В романе, насколько я понимаю, некоторые условности формы

и метода давно уже стали незыблемым законом и вызывают прямо-таки суеверное почтение. Здесь я ими совершенно пренебрег. Единственное мое оправдание: всякий волен писать, как ему заблагорассудится. Говорят, в этом романе я допускаю ошибки столь же чудовищные, как если бы ты в своих драмах ввел монологи и реплики «в сторону» или вдруг сам вышел бы на сцену и принял участие в спектакле. Ты знаешь, как я был бы рад, если бы ты это сделал: я — враг всяких правил, произвольно навязываемых искусству. Стандарт в искусстве мне так же ненавистен, как в жизни. Грешил ли я экспрессионизмом и сюрреализмом или не грешил — этого я не знаю и знать не хочу. Я знал, что хочу сказать, — и сказал это. И я ничуть не старался быть «оригинальным».

Техника этой книги, если тут вообще можно обнаружить какую-либо технику, та же, что я изобрел, когда писал свою длинную современную поэму под названием «Шут в лесу» (тебе она нравилась). Кое-кто называл ее «джазовой поэзией»; а теперь я написал, очевидно, джазовый роман. Ты увидишь, насколько это соответствует моей теме.

Надеюсь, во всяком случае, что явный или скрытый в этой книге идеализм найдет в тебе отклик. Я испытал много сомнений, колебаний, взгляды мои менялись, но всегда я сохранял известный идеализм. Я верю в людей, верю в некую изначально присущую им честность и чувство товарищества, без этого общество не могло бы существовать. Как часто честность извращают, как часто товарищество предают, ты знаешь не хуже меня. Я не верю в трескучие фразы и в деспотизм, даже в диктатуру интеллигенции. Думается, мы с тобой имеем некоторое представление о том, что такое интеллигенция.

Кое-кто из молодежи, те, кому предстоит «вершить благородные дела, о которых мы забыли», с этим не согласны. Они полагают, будто с трескучими фразами можно бороться с помощью сверхтрескучих фраз. Искренность давным-давно устарела. Неважно, что именно говорить; важно только внушать другим, что ты прав. И остается одна надежда: запретить всем читать, за исключением немногих избранных (кем и как избранных?), а уж они будут указывать нам, простым смертным, что делать и как жить. Да неужели мы в это поверим? За тебя, так же как и за себя, смело отвечаю: конечно нет! А впрочем, может быть, это ирония, и молодым людям просто не дают покоя лавры Свифта.

Но, как ты увидишь, эта книга, в сущности, — надгробный плач, слабая попытка создать памятник поколению, которое на многое надеялось, честно боролось и глубоко страдало. Другие, вероятно, поймут это совсем иначе. Почему бы и нет? А мы добиваемся только одного: пытаемся сказать правду, верим, что это правда, и не боимся ни противоречить себе, ни признавать свои ошибки.

Всегда твой
Ричард Олдингтон
Париж, 1929

ОТ АВТОРА

Этот роман в напечатанном виде несколько отличается от рукописи. К моему удивлению, издатели сообщили мне, что некоторые слова, выражения, обороты и даже отдельные отрывки оказались сейчас в Америке под запретом. Я описывал в этой книге только то, что наблюдал в жизни, говорил только то, что безусловно считаю правдой, и у меня не было ни малейшего намерения тешить чье-либо нечистое воображение. Для этого моя тема слишком трагична. Но я вынужден послушаться совета тех, кто знает законы о печатном слове. Поэтому я просил издателей изъять из книги все, что, по их мнению, может показаться предосудительным, и заменить точками каждое пропущенное слово.

Пусть лучше книга выйдет изуродованной, но я не стану говорить то, чего не думаю. *En attendant mieux**.

P. O.

P.S. Справедливости ради должен прибавить, что в этом американском издании сокращения гораздо меньше и малочисленней, чем те, которых от меня потребовали в Англии.

* В ожидании лучшего (*фр.*).

ПРОЛОГ
MORTE D'UN ERÒE*
Allegretto

* Смерть героя (*ит.*).

Военные действия давно уже прекратились, а в газетах все еще появлялись списки убитых, раненых и пропавших без вести, — последние спазмы перерезанных артерий Европы. Разумеется, никто этими списками не интересовался. Чего ради? Живым надо решительно ограждать себя от мертвецов, тем более — от мертвецов навязчивых. Но утрата двадцатого века огромна: сама Юность. И слишком многих пришлось забывать.

В одном из этих последних списков, под рубрикой «Пали на поле брани», стояло следующее:

«Уинтерборн, Эдуард Фредерик Джордж, капитан 2 роты 9 батальона Фодерширского полка».

Новость эта была встречена с таким равнодушием, и забыли Джорджа Уинтерборна с такой быстротой, что даже он сам удивился бы, — а ведь ему был свойствен безмерный цинизм пехотинца: пехотные циники всегда прикидываются такими безмозглыми бодрячками и этим вводят в заблуждение многих не слишком проникательных людей. Уинтерборн почти надеялся, что его убьют, и знал, что его безвременную смерть в возрасте двадцати лет с небольшим оставшиеся в живых уж наверно перенесут стоически. Но то, что произошло, все же немного уязвило бы его самолюбие.

Говорят, жизнь — все равно что светящаяся точка, внезапно возникающая из ниоткуда. Прочертит в пространстве и времени сверкающую причудливую линию — и так же внезапно исчезает. (Любопытно было бы поглядеть на огни, исчезающие из Времени и Пространства во время какого-нибудь большого сражения: Смерть гасит свечи...) Что ж, это наша общая участь; но мы тешим себя надеждой, что наш довольно путаный и не слишком яркий след будет еще хоть несколько лет светить хоть нескольким людям. Я думаю, имя Уинтерборна и вправду появилось на какой-нибудь мемориальной доске в память павших воинов, скорее всего в церкви при той школе, где он учился; и, конечно, во Франции он получил, как полагается, вполне приличный надгробный камень. Но и только. Его гибель никого особенно не огорчила. У людей сдержанных и притом небогатых друзей не много; и Уинтерборн не слишком надеялся на своих немногочисленных приятелей, а меньше всего на меня. Но я знал — он сам говорил мне, — что есть на свете четыре человека, которым как будто не совсем безразличен он и его судьба. Эти четверо — его отец и мать, его жена и его любовница. Знай он, как все они приняли весть о его смерти, я думаю, это его раздосадовало бы, но и позабавило, а пожалуй, у него и полегчало бы на душе. Он избавился бы от ощущения, что он все же за них в ответе.

Отец Уинтерборна — я немного знал его — отличался непомерной сентиментальностью. Тихий, беспомощный, с претензией на аристократичность, он был эгоистом из породы самоотверженных (иными словами, вечно ставил себе в заслугу, что «отказывается» от чего-нибудь такого, чего

в глубине души боялся или не хотел) и обладал особым даром портить жизнь окружающим. Просто удивительно, сколько непоправимого вреда может причинить добрый, в сущности, человек. Десять отъявленных мерзавцев натворят меньше зла. Он испортил жизнь жене, потому что был с нею чересчур мягок; испортил жизнь детям, потому что был с ними чересчур мягок и сентиментален и потому что потерял свое состояние — непростительный грех со стороны родителя; испортил жизнь друзьям и клиентам, без всякого злого умысла пустив их по миру; и совсем испортил свою собственную жизнь. Это — единственное, что он на своем веку сумел сделать добросовестно, основательно и до конца. Он устроил из своего существования такую путаницу, что ее не сумела бы распутать целая армия психологов.

Когда я сказал Уинтерборну все, что думал о его отце, он почти во всем со мною согласился. Но, в общем, он любил отца, должно быть, обезоруженный его кротким нравом и слишком снисходительный к этой тихой эгоистической сентиментальности. Быть может, при других обстоятельствах отец иначе воспринял бы известие о смерти Джорджа и иначе вел бы себя. Но он был до того напуган войной, до такой степени не способен примениться к жестокой, неотвратимой действительности (он всю свою жизнь упорно от нее уклонялся), что ударился в набожность, доходящую до юродства. Он свел знакомство с какими-то елейными католиками, и зачитывался елейными брошюрками, которыми они его засыпали, и хныкал и изливал душу елейному до отращения духовнику, которого они ему сосватали. И так, в разгар войны он был принят в лоно католической церкви; он без конца читал молитвы,

и слушал мессу, и составлял правила поведения для тех, кто стремится к жизни вечной, и даже находил в себе сходство со святым Франциском Сальским, и молился о канонизации сверхъестественной Терезы Лизьеской, — и, будем надеяться, обрел во всем этом утешение.

Известие о гибели Джорджа застало старика Уинтерборна в Лондоне, где он «работал на оборону». Он никогда бы не взялся за дело, которое требовало решимости и энергии, если бы его не довела до этого жена, пилившая его без передышки. Ее воодушевлял не столько бескорыстный патриотизм, сколько злость: возмутительно, что он вообще существует на свете, да еще мешает ее любовным похождениям! А он всегда с гордым и скорбным достоинством повторял, что его религиозные убеждения запрещают ему с нею развестись. Религиозные убеждения — прекрасный предлог, чтоб делать людям гадости. Итак, она нашла для него в Лондоне оборонную работу и поставила его в такое положение, что он не мог отказаться.

Телеграмма военного министерства — «с пригорьным извещаем... пал на поле брани... соболезнование их величеств...» — пришла на адрес загородного дома и попала в руки миссис Уинтерборн. Какой повод для переживаний, едва ли не приятное разнообразие: в деревне сразу после перемирия скука была изрядная! Миссис Уинтерборн сидела у камина, зевая в лицо своему двадцать второму любовнику, — роман тянулся уже около года, — и тут горничная подала телеграмму. Телеграмма была адресована мужу, но жена, разумеется, ее вскрыла: она подозревала, что какая-нибудь «такая» женщина охотится за ее супру-

гом, который, впрочем, по трусости своей был, к сожалению, вполне добродетелен.

Миссис Уинтерборн обожала в жизни театральные эффекты. Она вполне убедительно взвизгнула, прижала руки к довольно рыхлой груди и сделала вид, что падает в обморок. Любовник, образцовый молодой англичанин — то есть спортсмен и славный малый, из тех, что звезд с неба не хватают и дают водить себя за нос каждой юбке, тем паче каждой образцовой англичанке, подхватил ее машинально и не слишком охотно, но воскликнул с чувством, подобно какому-нибудь герою Этель Делл:

— Что случилось, дорогая? Неужели *он* опять оскорбил вас?

Бедняга Уинтерборн-старший был совершенно не способен кого-либо оскорбить, но у миссис Уинтерборн и ее любовников так уж повелось: возмущаться мужем, который ее «оскорбляет» и «издевается» над нею, хотя он в худшем случае позволял себе горячо молиться о том, чтобы супруга, вкупе со всей «несчастной заблудшей Англией», обратилась к истинной вере.

Низким томным голосом, в подражание героиням душещипательных романов, миссис Уинтерборн простонала:

— Он умер, умер!

— Кто? Уинтерборн?

(Хлопотавший вокруг нее Сэм Браун, кажется, немного испугался — ему, конечно, придется предложить руку и сердце, — и предложение того и гляди примут.)

— Мой сыночек! Эти гнусные, мерзкие гунны убили моего мальчика!

Сэм Браун, все еще ничего не понимая, взял телеграмму и прочел ее. Потом вытянулся, отдал

честь (хотя на нем не было фуражки) и сказал торжественно:

— Славная, честная смерть. Смерть, достойная англичанина.

(Когда убивают гунна, в этом нет ничего славного и честного: так им, подлецам, — не при дамах говорится «стервецам», — и надо.)

Слезы, проливаемые миссис Уинтерборн, были не слишком искренни, и их довольно быстро удалось осушить. Она трагически бросилась к телефону.

Трагическим голосом сказала в трубку:

— Подстанция? (*Всхлип.*) Дайте мне Кенсингтон десять тридцать. Да, да, номер мистера Уинтерборна (*всхлип*). Наш милый сын... капитан Уинтерборн... погиб... его убили эти (*всхлип*) звери. (*Всхлип, пауза.*) Благодарю вас, мистер Крамп, я не сомневалась, что вы посочувствуете нашему горю. (*Всхлип. Всхлип.*) Такой неожиданный удар. Мне не-об-хо-димо поговорить с мистером Уинтерборном. У нас здесь сердца разрываются (*всхлиписсимо*). — Благодарю вас. Я буду ждать звонка.

И в телефонном разговоре с супругом миссис Уинтерборн также оставалась верна себе:

— Это ты, Джордж? Да, это я. Изабелла. Я сейчас получила печальное известие. Нет, о Джордже. Приготовься, дорогой. Боюсь, что он очень болен. Что? Нет, Джордж, Джо-ордж! Ты что, оглох? Ну, вот так-то лучше. Так вот, слушай, дорогой, ты должен подготовиться к тяжкому удару. Джордж очень болен. Да, да, наш Джордж, наш малютка. Что? Ранен? Нет, не ранен, очень опасно болен. Нет, дорогой, надежды почти никакой. (*Всхлип.*) Да, дорогой, телеграмма от их величеств. Прочитать тебе? Ты приготовился к удару, Джордж, да? «С глубоким прискорбием... пал на поле брани...